

Толстой Алексей Николаевич

Петр Первый

Книга 2

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3
ББК 84-4
А47

А47 **Алексей Николаевич Т.**
Петр Первый: Книга 2 / Толстой Алексей Николаевич – М.: Книга по Требо-
ванию, 2022. – 286 с.

ISBN 978-5-519-77072-9

ISBN 978-5-519-77072-9

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2022

© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2022

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первозданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.



Серия Книжный Ренессанс

www.samizday.ru/reprint

так-то юрода, он раз вошел в храм, на амвон, пальцами начал рога показывать, да и завопил к народу: «Покло-няйтесь, али меня не узнали?..» Юродивого с попом и дьяконом взяли солдаты, свезли в Преображенский приказ к князю-кесарю, Федору Юрьевичу Ромоданов-скому.

Вдруг закричали: «Пади, пади!»—над толпой запрыгали шляпы с красными перьями, накладные волосы, бритые зверовидные морды,—ездовые на выносных конях. Народ кинулся к заборам, на сугробы. Промчался золоченый, со стеклянными окнами, возок. В нем торчком, как дура неживая, сидела нарумяненная девка,—на взбитых воле-сах войлочная шапчонка в алмазах, в лентах, руки по локоть засунуты в соболий мешок. Все узнали стерву, кукуйскую царицу, Анну Монсову. Прокатила в Гостиные ряды. Там уж купчишки всполошились, выбежали навстре-чу, потащили в возок шелка, бархаты...

А законную царицу, Евдокию Федоровну, этой осенью увезли по первопутку в простых саях в Суздаль, в монастырь, навечно—слезы лить...

2

— Братцы, люди хорошие, поднесите... Ей-ей—томно... Крест вчера пропил...

— Ты кто ж такой?..

— Иконописец, из Палехи, мы—с древности... Такие теперь дела,—разоренье...

— Зовут как?

— Овдюшка...

На человеке—ни шапки, ни рубахи,—дыра на дыре. Глаза горящие, лицо узкое, но—вежливый—человечно подошел к столу, где пили вино. Такому отказать трудно...

— Садись, чего уж...

Налили. Продолжали разговор. Большой хитрости под-слеповатый мужик с тонкой шеей, рассказывал:

— Казнили стрельцов. Ладно. Это—дело царское. (Под-нял перед собой кривоватый палец.) Нас не касается... Но...

Мягкий посадский в стрелецком кафтане (многие те-

перь донашивали стрелецкие кафтаны и колпаки,—стрельчихи с воем, чуть не даром, отдавали рухлядь), посадский этот застучал ногтями по оловянному стаканчику:

— То-то, что—но... Вот—то-та!..

Хитрый мужик,—помахивая на него пальцем:

— Мы сидим смирно... Это у вас в Москве чуть-что—набат... Значит, было за что стрельцов по стенам вешать, народ пугать... Не о том речь, посадский... Вы, дорогие, удивляетесь,—почему в Москве подвозу нет? И не ждите... Хуже будет... Сегодня,—и смех и грех... Привез я соленой рыбки, бочку... Для себя солил, но провоняла. Стал на базар,—еще, думаю, побыют за эту вонищу,—в час, в два все расхватили... Нет, Москва сейчас—место погиблое...

— Ох, верно!—Иконописец всхлипнул.

Мужик поглядел на него и—деловито:

— Указ: к масленой стрельцов со стен снимать, вывезти за город. А их тысяч восемь. Хорошо. А где подводы? Значит—опять мужик отдувайся? А посадки на что? Обяжи конной повинностью посадки.

Мягкие щеки посадского задрожали. Укоризненно покивал мужику:

— Эх ты, пахарь... Ты бы походил зиму-то мимо стен... Метелью подхватит, начнут качаться... Довольно с нас и этого страха...

— Конечно, их легче бы сразу похоронить,—сказал мужик.—В прощенное воскресенье привезли мы восемнадцать возов, не успели расшпилить—налетают солдаты: «Опоражнивай воза!»—«Как? Зачем?»—«Не разговаривай». Грозят шпагами, переворачивают сани. Грибов мелких привез бочку,—опрокинули, дьяволы. «Ступай,—кричат,—к Варварским воротам...» А у Варварских ворот навалено стрельцов сотни три... «Грузи, такой-сякой...» Не евши, не пивши, лошадей не кормили,—повозили этих мертвецов до ночи... Вернулись на деревню,—в глаза своим смотреть стыдно.

К столу подошел незнакомый человек. Стукнув доннышком, поставил штоф:

— На дураках воду возют,—сказал. Смело сел. Из штофа налил всем. Подмигнул гулящим глазом:—Бывайте здоровеньки.—Не вытирая усов, стал грызть чес-

почную головку. Лицо дубленое, горячее, сиво-пегая борода в кудряшках.

Подслеповатый мужик осторожно принял от него стаканчик:

— Мужик—дурак, дурак, знаешь,—мужик понимает... (Взвесил в руке стаканчик, выпил, хорошо крикнул.) Нет, дорогие мои... (Потянулся за чесночной головкой.) Утрась—видели—обоз пошел в Воронеж? Третью шкуру с мужика дерут. Оброчные—плати, по кабальным—плати, кормовые боярину—дай, повытошные в казну—плати, мостовые—плати, на базар выехал—плати...

Пегобородый разинул зубастый рот, захохотал. Мужик пресекался,—шмыгнул:

— Ладно... Теперь—лошадей давай под царский обоз. Да еще сухари с нас тянут... Нет, дорогие мои... В деревнях посчитайте, сколько жилых-то дворов осталось? Остальные где? Ищите... Ныне наготове бежать мало не все. Мужик—дурак, покуда сыт. А уж если вы—так, из-под задницы последнее тянут... (Взялся за бородку, поклонился.) Мужик лапти переобул и по-ашел, куда ему нада.

— На север... На озера... В пустыни!..—Иконописец придвинулся к нему, вжегся темными глазами.

Мужик отстранил: «Помолчи!..» Посадский, оглянувшись, навалился грудью на стол:

— Ребята,—зашептал,—действительно, многие пугаются, уходят за Бело-озеро, на Вол-озеро, на Матка-озеро, на Выг-озеро... Там тихо... (Дрогнув вспухшими щеками...) Только те, кто уйдут,—те и живы будут...

У иконописца черные зрачки разлились во весь глаз,—стал оборачиваться то к одному собеседнику, то к другому...

— Он верно говорит... Мы в Палехе к великому посту шесть сот икон написали. По прежним годам это—мало. Нынче ни одной в Москву не продали. Вой стоит в Палехе-та. Отчего? Пи́сьмо наше светлое, титл Исуса с двомя «иже». Рука, благословляющая со щепотью. И крест пишем—крыж—четыреконечный. Все по православному чину. Понятно? Те, кто у нас иконы берут,—гостинодворцы,—Корзинкин, Дьячков, Викулин,—говорят нам: «Так писать бросьте. Доски эти надо сжечь, они прелестные: на них, говорят, лапа...»—«Как лапа?» (Иконопи-

сең всхлипнул коротко. Посадский, низко склонясь над столом, застучал зубами.) «А так, говорят, след его лапы... Птичий след на земле видели,—четыре черты?.. И у вас на иконах тот же...»—«Где?»—«А—крыж... Понятно? Вы, говорят, этот товар в Москву не возите. Теперь вся Москва поняла, откуда смрадом тянет...»

Мужик мигал веками, не разобрать, верил ли, нет ли... Пегобородый, усмехаясь, грыз чеснок. Посадский кивал, поддакивал; и вдруг, оглянувшись, вытянул губы, зашептал:

— А табак? В каких книгах читано—человеку глотать дым? У кого дым-то из пасти? Чаво? За сорок за восемь тысяч рублей все города и Сибирь вся отданы на откуп англичанину Кармартенову—продавать табак. И указ, чтоб эту адскую траву-никоциану курили... Чьих рук это дело? А чай, а кофей? А картовь,—тфу, будь она проклята? Похоть антихристова,—картовь! Все это зелье—из-за моря, и торгуют им у нас лютеране и католики... Чай кто пьет—отчаеся... Кто кофей пьет—у того на душе ков... Да,—тфу,—сдохну лучше, чем в лавку себе возьму такое...

— Торгуешь-то чем?—спросил пегобородый.

— Да какая теперь торговля... Немцы торгуют, а мы воем. Овсея Ржева, Константина, брата его, не знавал? Стрельцы Гундертмаркова полка... Вот моя лавка, вот их торговые бани. Таких людей и нет теперь. Обоих на колесе изломали... Говорил Овсей не раз: «Терпим за то, что тогда, в восемьдесят втором году, в Кремле, старцев не послушали. Нам бы, стрельцам, тогда за старую веру стать дружно... Иноземца ни одного бы в Москве не осталось, и вера бы воссияла, и народ бы сыт был и доволен... А теперь не знаем, как и душу спасти...» Вот какие справедливые люди по стенам всю зиму качались... Нет стрельцов,—бери нас голыми руками... Всем морду обреют, всех заставят пить кофей, увидите...

— Вот, хлеб съедим, к весне все разбредемся,—сказал мужик твердо.

— Братцы!—Иконописец с тоской вперился в мокрое окошечко.—Братцы, на севере—прекрасные пустыни, тихое пристанище, безмолвное житие...

В кабаке становилось все шумнее и жарче, бухада обитая рогожей дверь. Спорили пьяные, у стойки качался

один, голый по пояс, без креста, молил—в долг чарочку...
Одного выволокли за волосы в сени и там, надрывающе
вскрикивая, били,—должно быть, за дело...

У стола остановился согнутый, едва не пополам, ни-
щий человек. Опираясь на две клюки, распустился доб-
рыми морщинами. Пегобородый взглянул на него, на-
двинул брови. Согнутый сказал:

— Откуда залетел, сокол?

— Отсюда не видно. Ты проходи, чего стал...

— Онвад с унод? ¹—в половину голоса быстро спро-
сил согнутый.

— Ступай,—мы здесь явно...

Согнутый, более не спрашивая, выставил редкую бо-
роденку и застучал клюками в глубь кабака. Посадский,—
испугавшись:

— Это—кто ж такой?

— Путник на сиротской дороге,—строго сказал пего-
бородый.

— По-каковски с тобой говорил-то?

— По-птичьи.

— А ведь он тебя будто признал, парень...

— А ты поменьше спрашивай, умнее будешь... (Отрях-
нул крошки с бороды, положил на стол большие руки...)
Слухай теперь... Мы—с Дону, по торговому делу.

Посадский живо придвинулся, заморгал:

— Чего покупаешь?

— Огневое зелье,—нужно бочек десять. Свинцу пудов
полсотни. Сукна доброго на жупаны. Железо подковное,
гвозди. Деньги есть.

— Сукна доброго, железа достать можно... Свинец и
порох—тяжело: мимо казны нигде не ваять.

— То-то, что постараться—мимо казны.

— Есть у меня один подьячий. Нужны подарки.

— Само собой...

Посадский, торопливо царапая крючками по полушубку,
сказал, что постарается—сейчас приведет подьячего. Убе-
жал. Мужiku хотелось вмешаться в торговое дело. На-
морща лоб, покашлиал:

¹ Тарабарский язык, употребляемый владимирскими офенями,
раскольниками, иногда и разбойниками. Слова говорились на вы-
ворот.

— Шерсть поярковая, кожи не надо тебе, милок? Ну, — скажите, — пятьдесят пудов свинца... Воевать, казачки, что ли, собираетесь?

— Перепелов бить...

Пегобородый отвернулся. К нему опять подходил согнутый человек на клюках. Держа шапку с милостыней, сел рядом и — не глядя:

— Здравствуй, Иван...

— Здравствуй, Оверьян, — так же, не глядя, ответил пегобородый.

— Давно не видались, атаман...

— Побираешься?

— От немощи... Летась погулял в лесу легонько, — не те года... Надоело, — помирать надоть...

— Обожди немного...

— А что, — разве хорошее слышно?

Иван, усмехаясь, глядел сквозь чад на пьяных людишек. Глаза охолодели. Тихо, — углом рта:

— Дон поднимаем.

Оверьян уткнулся в шапку, перебирал полушки:

— Не знаю, — проговорил, — слыхать — донские казаки осмирнели, на хутора садятся, добром обрастают...

— Пришлих много, гультьев. Они начнут, казаки подсобят... А не подсобят, — все равно — либо в Турцию уходить, либо под Москву в холопы, навечно... Тогда помогли царю под Азовом, теперь он на весь Дон лапу наложил. Пришлих велют выдавать. Попов из Москвы нагнали, старую веру искореняют... Конец тихому Дону...

— Для такого дела нужен большой человек, — сказал Оверьян, — не вышло бы, как тогда при Степане... ¹

— Человек у нас есть, не как Степан, — без ума голову свою потерял, — прямой будет вож... Весь раскол за ним встанет...

— Смутил меня, Иван, прельстил, Иван, — а уж я собрался на покой...

— Весной приходи. Нам старые атаманы нужны. Погуляем веселей, чем при Степане...

— Едва ли, едва ли... Много ли нас от той крови осталось? Ты да я, пожалуй...

¹ Т. е. при Степане Разине.

Запахавшись, вернулся посадский, подмигивал щекой. За ним шел важный лысый подьячий в буром немецком кафтане с медными пуговицами, в разбитых валенках. На груди в петлю воткнуто гусиное перо. Не здороваясь, брезгливо сел за стол. Лицо—жаждущее, глаза—мутные, антихристовы, в ноздри глубоко видно. Посадский, не садясь,—из-за спины,—ему на ухо:

— Кузьма Егорыч, вот человек, который...

— Блинов,—мятым голосом проговорил подьячий, не обращая внимания,—блинов с тешкой...

3

Князь Роман, княж Борисов, сын Буйносов, а по-домашнему—Роман Борисович, в одном исподнем сидел на краю постели, кряхтя, почесывался,—и грудь, и подмышками. По старой привычке лез в бороду, но отдергивал руку: брито, колко, противно... Уа-хаха-хаа-а...—позевывал, глядя на небольшое оконце. Светало,—мутно и скучно.

В прежние года в этот час Роман Борисович уж вдевал бы в рукава кунью шубу, с честью надвигал до бровей бобровую шапку,—шествовал бы с высокой тростью по скрипучим переходам на крыльцо. Дворни душ полтора, кто у возка,—держат коней, кто бежит к воротам. Весело рвали шапки, кланялись поясным махом, а те, кто стоял поближе,—лобызали ножки боярину... Под ручки, под бочки подсаживали в возок... Каждое утро, во всякую погоду, ехал Роман Борисович во дворец—ждать, когда государевы светлые очи (а после—царевнины очи пресветлые) обратятся на него. И не раз того случая дожидался...

Все минуло! Проснешься,—батьюшки! неужто минуло? Дико и вспомнить: были когда-то покой и честь... Вон, висит на тесовой стене—где бы ничему не висеть—голландская, ради адского соблазна писанная, поскудная девка с задранном подолом. Царь велел в опочивальне повесить, не то на смех, не то в наказание. Терпи...

Князь Роман Борисович угрюмо поглядел на платье, брошенное с вечера на лавку: шерстяные поперек полосатые чулки, портки короткие,—жмут спереди и сзади,—зеленый, как из жести, кафтан с галуном. На гвозде—

вороной парик, из него палками пыль-то не выколотишь. Зачем все это?

— Мишка!—сердито закричал боярин. (В низенькую, обитую красным сукном дверцу вскочил бойкий паренек в длинной православной рубашке. Махнул поклон, откинул волосы.)—Мишка, умыться подай. (Паренек взял медный таз, налил воды.) Прилично держи лохань-та... Лей на руки...

Роман Борисович больше фыркал в ладони, чем мылся,—противно такое бритое, колючее мыть... Ворча, сел на постель, чтобы надели портки. Мишка подал блюдо с мелом и чистую тряпочку.

— Это еще что?—крикнул Роман Борисович.

— Зубы чистить.

— Не буду!

— Воля ваша... Как царь-государь говорил надясь зубы чистить,—боярыня велела каждое утро подавать...

— Кину в морду блюдцем... Разговорчив стал...

— Воля ваша...

Одевшись, Роман Борисович подвигался телом,—жмет, тесно, жестко... Зачем? Но велено строго,—дворянам всем быть на службе в немецком платье при алонжевом парике... Терпи!.. Снял с гвоздя парик (неизвестно—какой бабы волосы), с отвращением наложил. Мишку (полез было поправить круто завитые космы) ударил по руке. Вышел в сени, где трепала печь. Снизу, из поварни (куда уходила крутая лестница), несло горьким, паленым...

— Мишка, откуда вонища? Опять кофей варят?

— Царь-государь приказал боярыне и боярышням с утра кофей пить, так и варим...

— Знаю... Не скаль зубы...

— Воля ваша...

Мишка открыл обитую сукном дверцу в крестовую палату. Роман Борисович, достойно крестясь, подошел к аналою. На бархате раскрыт закапанный воском часослов. Снял нагар со свечечки. Вадел круглые железные очки. Лизнул палец, перевернул страницу и задумался, глядя в угол, где едва поблескивали оклады на иконах: горел один только зеленый огонек перед Николой-чудотворцем...

Было отчего задуматься... Ведь так, если дальше пойдет,—всем великим родам, княжеским и дворянским,

разорение, а про бесчестие и ругательство и говорить не приходится. «Ишь ты,—взялись дворянство искоренять! Искорени... При Иване Грозном пробовали так-то—разорять княжеские фамилии... Получилась гиль, смута... И ныне будет гиль... Становой хребет государству—мы... Разори нас,—и государства нет, жить не зачем... Холопами, что ли, царь, будешь управлять?.. Чепуха!.. Молод еще, слаб разумом, да и тот, видно, на Кукуе пропил...»

Роман Борисович поправил очки, начал читать,—гнусливо, по чину. Но мысли гуляли мимо строчек...

«Дворни пятьдесят душ взяли в солдаты... Пятьсот рублей взяли на воронежский флот... Пшеницы было за три года урожая,—ждал, когда цену дадут... (От резкой досады горько стало во рту.) Теперь слышно—у монастырей вотчины будут отбирать, все доходы брать в казну... Солонины велено заготовить десять бочек... Боже мой, солонина-то им зачем?..»

Читал. За слюдяным, в свинцовой раме, окошечком зеленело утро. Мишка у двери бил поклоны...

«На масляной бесчестили великие фамилии!.. По триста человек ряженных налетало,—в полночь, а то и позднее. Страх-то какой! Рожи сажей вымазаны. Пьяные. Не разберешь, где тут и царь. Сожрут, напьются, наблюют, дворовым девкам подолы обдерут... Кричат козлами, петухами, птицами...»

Роман Борисович переступил с ноги на ногу,—вспомнил, как в последний день его, напоивши вином до изумления; заголив портки, посадили в лукошко с яйцами... И не смешно вовсе... Жена видела, Мишка видел... «Ох, господи, боже! Зачем? К чему это?»

Роман Борисович с натугой размышлял: в чем же причина бедствию? За грехи, что ли? В Москве шепчут,—в мир-де пришел лстец. Католики и лютеране—его слуги, иноземные товары—все с печатью антихристовою. На-стал-де конец света.

Искривясь красноватым лицом на огонек свечечки, Роман Борисович сомневался: «Невероятно... Господь не допустит пропасть русскому дворянству... Обождать да потерпеть. Э-хе-хе...»

Усердно помолясь, сел под сводом у окна за столик,

покрытый ковром. Разогнул не малой толщины тетрадь, где было записано все касательно—кому дано в долг, с кого взыскано, с какой деревеньки взято деньгами или хлебом или запасами. Медленно перелистывал страницы, шевелил обритыми губами.

В палату вошел старший приказчик Сенка, взысканный из кабальных холопов за проницательный ум и великую злость к людям. Чистый был цепной кобель: до последней полушки выколачивал боярское добро. Крал, конечно, хотя—в меру, по совести, и—хоть режь его—никогда в воровстве не сознавался. Роман Борисович не раз, ухватя его за дремучую бороду на толстых жабрах, возил и бил затылком о стену: «Украл, ведь украл, сознавайся!..» Сенка, не моргая, рыжими глазами глядел на боярина, как на бога. Только, когда оставят его бить, отогнет полу сермяжного кафтана, высморкает мягкий нос, заплачет:

— Напрасно, Роман Борисович, слуг бьешь так-то. Бог тебя простит, я перед тобой ни в чем не виноват...

Сенка влез бочком в чуть приоткрытую дверь, перекрестился на Николая-чудотворца, поклонился боярину и встал на колени.

— Ну, Сенка, что скажешь хорошего?

— Все слава богу, Роман Борисович.

Сенка, стоя на коленях, вздев глаза к потолку, начал докладывать наизусть—с кого сколько было получено за вчерашний день, откуда и что привезено, кто остался должен. Двоих мужиков, злых недоимщиков, Федьку и Коську, привел из сельца Иваньково и со вчерашнего вечера поставил на дворе на правёж...¹

Роман Борисович удивился, приоткрыл рот,—неужто не хотят платить? Сунулся в тетрадь: Федька в прошлом году взял шестьдесят рублей,—избу-де новую справить, да сбую, да лемех новый, да на семена... Коська взял тридцать семь рублей с полтиной, тоже, видно, врал, что на хозяйство...

— Ах, сволочи, ах, мошенники! Ты бить-то их велел батогами?

— С вечера бьют,—сказал Сенка,—двое приставлены к

¹ Пытка, которой подвергали должников, покуда не заплатят.